Юрий Колкер

«Я ВОЗВРАЩАЮ ВАШ ПОРТРЕТ»

Беседа с достойным человеком

2015

↓

Герцог Франсуа велит лакею отступить на шаг и повыше поднять канделябр, приближает лицо к венецианскому зеркалу большого дворцового трюмо (место действия — шато Вертёй, иначе Verteuil-sur-Charente, время — середина XVII века), потом возвращается к бюро, открывает бронзовую крышечку чернильницы с Амуром-стреловержцем, погружает в тёмную жидкость гусиное перо, медлит секунду, затем пишет:

> «Кожа у меня смуглая, но довольно гладкая, лоб открытый, в меру высокий, глаза чёрные, небольшие, глубоко посаженные, брови тоже черные, густые, но хорошо очерченные. Затрудняюсь сказать, какой формы у меня нос: он скорее великоват, нежели мал, и слегка нависает над верхней губой…»

Герцог — воин, придворный и писатель, даже поэт, если иметь в виду его отношение к своей прозе, к ее форме, отточенной и экономной (пишет он *максимы*), и к ее содержанию, от которого дыхание перехватывает: такое он говорит о каждом из нас. Звание воина герцог ставит выше звания поэта. Сохранились и живописные портреты герцога, но их ему мало, ему требуется ещё и словесный, притом в собственном исполнении. Упрекнём ли герцога? Можно и упрекнуть; что за самолюбование! А можно сказать: каждый человек неповторим, что драгоценно само по себе, а вместе с тем в чем-то и типичен; изучая себя, мы постигаем нечто большее, чем горсть праха: человека вообще, человечество в целом, даже Бога, если мы верим в Бога.

А можно и вовсе перенести внимание на другие слова ла-Рошфуколя (ибо это он); например, на такие:

> «Беседа с достойными людьми — одно из моих величайших удовольствий. Я люблю, чтобы она велась в серьёзном тоне и касалась преимущественно вопросов нравственности…»

Тут автора не упрекнёшь за яканье, а ведь это сообщение — тоже портретная черта. От портрета внешнего, наружного, он переходит к внутреннему, сущностному. В своих афоризмах, беспощадных к человеческой природе, он рисует нас всех, но отправляется от себя, не щадит себя вместе со мною и с вами.

Мне дорог мой словесный портрет первой половины 1980-х в исполнении Дмитрия Северюхина (*Вечер в Летнем саду. Эпизоды из истории Второй культуры*. СПб., 2000). Портрет хорош во всех смыслах: он правдив, точен и глубок, показывает меня в разных положениях, с разных сторон, не всегда лестных. Глаз у Северюхина верный (недаром, среди прочего, этот изобретатель, предприниматель и искусствовед еще и живописью занимался), память цепкая. Видеоролик сказал бы мне не больше его рисовки. Узнаю себя, как в зеркале, — в ужасные прекрасные годы с 1982 по 1984, в пушкинском возрасте, на пороге страшного, безвозвратного шага. Эмиграция была тогда отбытием в потусторонний мир, «в страну, откуда ни один не возвращался».

Мы с Северюхиным навсегда расстались в июне 1984 года, но история совершила кульбит из числа тех, которые никому не под силу предвидеть, и — против всяких ожиданий — мы встретились еще раз. Случилось это ровно через 17 лет, 6 июня 2001 года, в Летнем саду, где Северюхин держал в Чайном домике художественную галерею, книжную лавку и что-то вроде закусочной с сардельками и пивом. Я похвалил его воспоминания, а Северюхин в ответ признался мне, что его книга (по его словам, от начала до конца правдивая и точная) вызвала неудовольствие всех, кто в ней упомянут, за исключением только меня. Мы оба удивились этой странности. Я в ту пору ещё не знал, что таково уж свойство любых мемуаров: они обижают решительно всех, упомянутых и неупомянутых.

В свой черёд и я набросаю портрет Северюхина, пристегну набросок к моему портрету его работы. Здесь этот набросок к месту как введение, а мне необходим как заключение.

Что Северюхин — человек необычайно способный, я в 1982 году увидел сразу. Оттого и пригласил его принять участие в подготовке двухтомника стихотворений Ходасевича, хотя работа эта была мною в главном уже закончена, и в любом случае помощник мне не требовался. Северюхин только помог собрать стихотворные переводы Ходасевича и написал статью об этих переводах (ее поначалу приписывали мне; один из полуподпольных авторов той поры, В. Эрль, даже подсмеивался над моим опереточным псевдонимом).

Приглашение к сотрудничеству удивило Северюхина. Он словно бы не хотел верить своей удаче, разом вводившей его в круги той самой второй литературы. Моя работа была обречена на успех, уже была успехом; Северюхин прочёл ее в полузавершённом виде у общего знакомого и пришел ко мне с замечаниями и поправками.Удивляло это приглашение и других — потому что мне сотрудничество с Северюхиным ничего не сулило, я справлялся в одиночку; не прибавляло оно и веса моему труду, ибо о Северюхине как об авторе никто тогда не слыхал. Но я видел перед собою незаурядного молодого человека, культурного, искренне любившего стихи Ходасевича (что в те времена было редкостью), мне симпатичного и явно готового к служению… а служение — да-да, служение русской культуре (как странно писать об этом после 2014 года!), служение будущей свободной от большевиков России, в которую еще очень можно было тогда верить и в которую, не стыжусь признаться, я верил страстно, — это служение было моей idée fixe, сам же я считал себя в ту пору толстовцем без христианства, так что протянуть руку Северюхину было для меня совершенно естественным душевным движением.

Северюхин был незауряден, но сверх того и нетипичен. Среди прочего он понравился мне тем, что в нём чувствовалось полученное им естественнонаучное образование. В среде тамошних тогдашних гуманитариев преобладали два свойства, от которых у меня по временам руки опускались: неумение связно мыслить и неумение работать, со всеми вытекающи-

ми отсюда бедами вроде неряшливости в словах и поступках. Конечно, эти качества — умение мыслить и работать — артистическая среда традиционно приписывает посредственности, в то время как отказ от этих качеств, и даже не без некоторого основания, она прощает и даже вменяет художнику и поэту. Для творческой личности, гласит легенда, для гениальности, живущей порывами, самая лень — эликсир вдохновения, самая расхлябанность временам плодотворна, и даже такой смертный грех как уныние служит питательным субстратом. Всё это понятно и отчасти верно; но всему есть мера, а там и тогда — меры не было. Распущенность слишком преобладала вокруг над вдохновением, притом не только у поэтов. Что Северюхин работник; что на него можно положиться; что он ни в каком смысле не выдаст, — это всё я увидел сразу. Его замечания и поправки были умны. Чего же ещё? Пусть и он внесёт свой вклад, пусть служит русской культуре наравне со мною, наравне со всеми.

Одно из замечаний Северюхина, которое я не успел внести в окончательный текст (мои комментарии к стихам Ходасевича уже ушли в печать по подпольным каналам, а типография была в Париже) с благодарностью привожу десятилетия лет спустя. Я тогда не заметил и не отметил, что известные стихи Ходасевича

Да, меня не пантера прыжками
На парижский чердак загнала.
И Вергилия нет за плечами, —
Только есть одиночество — в раме
Говорящего правду стекла,

отсылают к Inferno Данте. В переводе Лозинского, который я только и знал тогда, дантовской аллегорией похоти выступает не пантера, а рысь (в оригинале, как я знаю теперь, тоже стоит lonza, эквивалент слову lince в современном итальянском, то есть опять же рысь), и героя она не загоняет, а не пускает, «преграждает высь», — но всё же перекличка Ходасевича с Данте тут очевидна, ее следовало обсудить, сказать вот хоть то, что сейчас говорю, — и мне обидно, что я не обсудил её в моих комментариях.

Уже это замечание Северюхина говорит само за себя; в нём уже заключён прикательнейший портрет Северюхина. Разве мог я этого не оценить, разве могу не вспомнить с благодарностью?

Перехожу к моему портрету работы Северюхина.

Верные и точные замечания, среди них и относящиеся к моей физиономии и моей жизни, рассеяны по всей книге Северюхина. На странице 23 он пишет:

> «В то же время некоторые из наших знакомых, в том числе поэт Юрий Колкер, о котором я расскажу ниже, активно выступали против участия в "Клубе-81", считая это недопустимым политическим компромиссом…»

Что и говорить! Вот характернейшая черта той поры: КГБ начало напрямую заигрывать с диссидентством. Давно ли просто хватали и расстреливали кого ни попадя, включая своих? А тут стали обхаживать, приваживать. К 1981 году всем, сверху донизу, было ясно, что

большевизм сдох. На смену ему шло махровое почвенничество в обнимку с квасным кривославием. Угнетатели и угнетённые оказались братьями по крови, по вере. Так и возник карикатурный Клуб-81, не давший ничего и никого, но на долгую минуту приворживший полуподпольную среду Ленинграда, в которой авторы десятилетиями были оторваны от гутенбергова станка. Где они теперь, эти *клубни*?

Но Северюхин сгущает краски, говоря, что я «активно выступал». Моё отношении было пассивным. Я просто не вступил в этот клуб, а других не переубеждал. У клуба был надсмотрщик от КГБ, некто Андреев, и был устав. Лишний надсмотрщик мне не требовался. В уставе значились пункты, для меня неприемлемые (например, требование отказаться от публикаций за границей, которому, конечно, никто из *клубней* и в мыслях не имел подчиниться; они об этом прямо говорили в своём кругу). Клуб, среди прочего, объединял любителей джазовой музыки, а я этой музыки терпеть не могу. У меня не было ничего общего с этими людьми, собиравшимися обустраивать Совдепию; мои интересы не совпадали с их интересами, и я не видел, зачем мне брать на себя лишние обязательства и брататься с чужими по духу людьми.

На странице 27 Северюхин пишет:

> «Посещение поэтических вечеров, чтение самиздатских журналов, общение с писателями побуждало меня самого заняться литературным творчеством. Вскоре такая возможность неожиданно представилась. Однажды Кобак принес мне довольно внушительную машинописную книгу — первый том Полного собрания стихотворений Владислава Ходасевича. Составителем этого собрания и автором обширных комментариев был поэт Юрий Колкер. Стихи любимого мною Ходасевича я знал тогда только по антологии "Русская поэзия XX века", выпущенной в 1923 году Ежовым и Шамуриным. … Я с увлечением начал изучать подготовленный Колкером том и сделал множество замечаний по поводу его комментариев. Насколько эти замечания были дельными, сказать теперь не могу. Во всяком случае, получив их, Колкер сразу же позвонил мне по телефону и предложил встретиться…»

Дельными, дельными были замечания Северюхина. Одно я уже отметил; других не помню, да хватило бы и упомянутого, — моей благодарности, во всяком случае, на десятилетия хватило. Но зачем он говорит о «литературном творчестве» там, где разве что отдалённые подступы к нему намечаются? Это — неосторожность.

А вот и мой портрет кисти Северюхина, сперва физиономический, а затем, с некоторым опережением, через заимствование из будущего, отчасти уже и психологический:

> «Спустя некоторое время Юрий Колкер появился у меня дома. Это был довольно высокий упитанный человек на вид лет сорока (на самом деле ему было только тридцать пять) с взлохмаченной шевелюрой и небольшой русой бородкой, которую он всегда почесывал при разговоре. Вообще у него была немного странная манера вести

разговор, не глядя в глаза собеседнику, словно обращаясь исключительно к самому себе. Эта самоуглубленность и застенчивость сочеталась в нем с болезненной мнительностью и довольно неуживчивым характером, который позже оттолкнул от него многих друзей. Колкер окончил физико-механический факультет Политехнического института и защитил кандидатскую диссертацию по математической биологии. Ко времени нашего знакомства он уже два года работал истопником в газовой котельной. Еще в юности он начал писать стихи, посещал литературные объединения Глеба Семенова и Александра Кушнера, даже сумел опубликовать несколько стихотворений в официальных журналах и альманахах…»

Всё верно. Чем тут быть недовольным? Я ведь и сам вижу себя отнюдь не в треуголке, на коне и с саблей наголо; пишу о себе еще резче, еще хлеще. Мне смешны новейшие русские мемуаристы с их самодовольством и самовыпячиванием. Мне всегда казалось, что вся литературная мощь воспоминаний как жанра, вся их культурная ценность (во всяком случае после Жана-Жака Руссо, если не прямо после блаженного Августина) заключена в суде над собою, в покаянной, исповедальной открытости правде, сколь бы горькой эта правда ни была.Конечно, придира (какой-нибудь учёный малый, но пе дант) указал бы Северюхину, что стихи я сочиняю не с юности, а с дошкольного возраста; что стихи, а не занятия наукой, составляли содержание моей жизни с детства до старости; что и Ходасевичем я занимался не из честолюбия или иных практических соображений, а от пожиравшей меня потребности выговорить мою эстетическую мечту на примере любимого поэта. И в литературные объединения ходил я с отрочества, ходил ко многим тогдашним наставникам, не только к двум упомянутым. Но всё это пустяки, важные разве что мне. В книге Северюхина они были бы отступлением, мешающим развитию темы. Не упрекаю автора.

Другой придира, почесав русую бороду, пробормотал бы, пожалуй, меланхолически, что намечавшееся у меня брюшко, которое деликатный Северюхин обозначает словом упитанность, — *сословная черта бедноты*, как это ещё Фигаро у Бомарше устанавливает. Богатому и свободному, при шпаге и дворянской гордости, вольно́ быть худощавым да подтянутым, а нищему слуге каково? В ту пору, в те ужасные прекрасные годы, я жил в нищете, если не на грани голода, считал каждую копейку, а на руках у меня были жена и восьмилетняя дочь, обе с тяжелыми хроническими болезнями, теснейшим образом связанными с местом временем, с проклятым Ленинградом, его людьми и климатом. Не стала бы моя жена инвалидом в другом городе другой страны, а дочь — та и без вмешательства медицины поправилась в сентябре 1984 года, через три месяца после того, как мы эмигрировали.

Северюхин говорит о моей болезненной мнительности. Не поправляю его, хотя сам я добавил бы к ней ещё и болезненную ранимость… если бы это жеманное словечко не было высмеяно Василием Аксёновым. Северюхин совершенно прав, говоря о моей мнительности,

самоуглубленности, застенчивости (качествах болезненных) и о моём «довольно неуживчивом характере», только слово *довольно* тут лишнее. Характер у меня всегда был самый что ни на есть неуживчивый, нрав нетерпимый. Смирять эти недостатки я в ту пору пытался моим назывным толстовством, да получалось плохо. Бороду мою русую (а может, и рыжеватую) я почёсывал, было такое; смотреть в глаза многим собеседникам затруднялся, — опять всё точно. Но такое и у великих наблюдалось; например, у Юлия Цезаря и у Стендаля. Оба затруднялись смотреть в глаза собеседнику, а первый к тому же ещё и почёсывал всё время свои аккуратно уложенные волосы. От великих меня отличала отмеченная Северюхиным болезненная застенчивость, пожалуй, и робость, слабохарактерность (диагноз медицинский мне поставили много позже: аутизм), — но амбиции мои, не стану скрывать, были тогда под стать цезарианским.

Где Северюхин неправ, так это в словах о том, что мой нрав «позже оттолкнул» от меня «многих друзей». У меня не было друзей в полуподпольной литературной среде. Ленинградская богема, в отличие от богемы оперной, казалась мне отталкивающе противной, грязной. Я не любил эту среду, примкнул к ней не по своей воле, а от безвыходности, я противопоставлял себя ей и ни с кем из этих людей не сблизился… Скажу больше: я вообще не любил людей — в духе ла-Рошфуколя, в духе пушкинского приговора «кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей». Любил я, но зато уж с неподдельным пылом, очень немногих, самых близких. Они и сохранили мне верность на десятилетия, как и я им.

Мелочный придира всё ещё тут. Речь ведь обо мне, вот я и не жалею слов на лирические отступления, которые Северюхину не позволила сделать композиция его книги.

Северюхина-мемуариста не упрекнёшь, он точен. Но один упрёк, не композиционный, скорее семантический или стилистический, и не в первую очередь к Северюхину обращённый, я сейчас выскажу. Брезжил этот упрёк в моём сознании, не претворяясь в слова, и при моем знакомстве с Северюхиным у него дома.

Советская власть была не для мечтателей. Советская власть так была устроена, что нам, моей семье и мне, нормальное жильё в Стране Советов не полагалось по закону. Нам полагалось до самой смерти жить в трущобной коммуналке (ее Северюхин опишет дальше) со всеми присущими этому институту невообразимыми гнусностями. А совсем еще молодой Северюхин — он, не скрою, на минуту показался мне тогда повесой и бонвиваном, этаким графом Альмавивой (да и внешне был сущий испанец, с усиками и чуть ли не с эспаньолкой), — жил в отдельной квартире…

Зависть толстовцу не к лицу. Её у меня и не было. Был вздох, обращённый в пространство. Моя неустроенность, моя беспомощность и потерянность, моя вина перед близкими, да что там — моя *никчёмность* (так я тогда переживал моё положение: ни Богу свечка, ни чорту кочерга) этим житейским пустячком была поставлена мне на вид. Я не годился на роль главы семьи, на роль добытчика, — и не находил никакого оправдания себе; меньше всего мог я черпать оправдание в моих стихах, в моей работе над Ходасевичем. Никогда мне не казалось, что талант, пусть хоть самый несомненный (не то что я) имеет моральное право уклоняться от общей человеческой лямки, от долга перед близкими, особенно же — страшной своим бытом Совдепии … Я смотрел на Северюхина (или, пожалуй, мимо него) — и чувствовал себя виноватым перед Таней и Лизой… От таких мыслей почешешь русую

бороду.

Конечно, я уже знал, что Северюхин, не чета мне-неудачнику, — талантливый инженер-изобретатель, а не истопник и толстовец. Но фокус был не в том, что «от каждого по способностям, каждому по труду», как возглашали большевики, а в том, что не было при тамошних законах такого труда и таких способностей, которые позволили бы молодому человеку обзавестись отдельной квартирой. В «стране труда» не было ипотечных ссуд, не было кредита. Сносное по советским понятиям жильё люди моего поколения или поколения Северюхина получали одним-единственным способом: от старших, в качестве подарка или наследства от состоятельной родни предшествовавшего поколения. А мы с Таней были бесприданники.

Северюхин продолжает правдиво развивать мой сущностный портрет:

> «Юрий Колкер был типично петербургским поэтом; он писал небольшие безупречные по форме философские стихотворения, в которых мифологические образы мирно уживались с реалиями современного города и некоторыми "советизмами". Мне особенно полюбилось его стихотворение про воробья, известное в нескольких вариантах:
>
> Воробей — терпеливая птица.
> Мне, быть может, когда я умру,
> Суждено в воробья превратиться
> На сквозном ленинградском ветру.
>
> Как само естество, обезличен,
> Равнозначен себе самому,
> Воробей оттого симпатичен,
> Что живёт, не вредя никому.
>
> Оттого ли, товарищ мой нищий,
> Бесприютный жилец чердака,
> Ты мне дорог, что голос твой чище
> И надежней, чем эта строка?
>
> Ничего мне от жизни не надо —
> Дайте только пропеть воробью,
> Просвистеть в полусне виновато
> Безголосую песню свою…»

Северюхин опять в десятку попал. Именно это стихотворение (написанное в феврале 1978 года) лучше всех прочих выражает меня тогдашнего. В нём всё: и моё толстовство, и моя горацианская готовность довольствоваться малым (но ведь и малое было отнято!), и сознание моего ничтожества перед огромным, напрочь закрытым от меня миром людей (вместе с тоской по этому миру), и мой ужас перед тогдашней советской жизнью, с ее катастрофической, умопомрачительной узостью, низостью, провинциальностью.

(Оно, это стихотворение, годами служило мне чем-то вроде моей визитной карточки или даже талисмана. Всем оно нравилось, даже тем, кому я не нравился. В 2005 году датский русский журнал *Другой берег* попросил у меня права перепечатать его, случай в русской ойкумене нечастый. Но талисман своё отслужил. В 2019 году тот же датский журнал не удостоил меня ответом на моё письмо со стихами: вообще ни словом не откликнулся…)

И, конечно, я «был типично петербургским поэтом»; жаль только, что Северюхин не догадался добавить: в эпоху, когда таковые перевелись. О советской поэзии можно говорить, а можно не говорить. О поэзии полуподпольной, о самиздате, о «поэзии нравственного сопротивления» большевизму — приходится сказать, что в Ленинграде той поры эта поэзия в своей массе была отрицанием прежней петербургской поэзии с ее жаждой совершенства. Добрая половина писавших в столбик писала под обэриутов. Полных три четверти стихотворцев усердствовали в словесной акробатике, надевали штаны через голову, оригинальничали ради оригинальничания. Горизонты этой «творческой среды» были местечковые. Хлебников и чуть ли не Кручёных с Бурлюком считались поэтами; Маяковский шёл за гения — совершенно как у литературоведов с Лубянки. Люди, чьи волосы уже сединой были тронуты, всерьёз рассуждали о *новаторстве в поэзии*, о *революционной поэзии*. Стоило произнести в этих кругах какую-нибудь простую и самоочевидную истину, вроде той, что новизна как таковая не обладает в искусстве никакой эстетической ценностью, как твой собеседник, по старинному выражению, становился в пень. Правота Северюхина была правотой безусловной, только с временно́й задержкой, с отставанием по фазе, как говорят инженеры.

Да, я писал небольшие философические стихотворения (конечно, не «безупречные по форме», а лишь проникнутые мечтой о безупречности, жаждой совершенства), «в которых мифологические образы мирно уживались с реалиями современного города и некоторыми "советизмами"». Северюхин опять прав в каждом слове, ещё раз спасибо ему, и опять — не до конца прав. Зря он думает, что мифологические образы не могут соседствовать в стихах с тамошними тогдашними реалиями и даже советизмами. Мы все, сколько нас было несчастных сочинителей, убогих пасынков музы при большевистском Молохе, вышли не из гоголевской *Шинели*, без которой спокойно жизнь можно прожить; мы вышли из Пушкина и карамзинистов, из *эпохи второго возрождения античности* конца XVIII и начала XIX веков. Эта античность, нам в детстве показанная в советской школе и у нас тотчас отнятая, в большей мере противостояла советской власти, чем любые обличительные документы или художественные сочинения, включая *Архипелаг ГУЛАГ*. Эта античность, не в нашем поколении ставшая «ворованным воздухом», не нами была приведена в соприкосновение с жуткими реалиями большевизма и выставлена противоядием от сиюминутной подлости режима. «Греки сбондили Елену по волнам — ну, а мне соленой пеной по губам», — нужно ли продолжать? Для меня античность была живой водой, последней животрепещущей правдой, спасением от неотступной, всё обволакивавшей лжи.

«Типичный петербургский поэт», «безупречные по форме стихотворения» — этими словами Северюхин выражает *типичный* оценочный подход, господствовавший в тогдашней полуподпольной литературе. Суть его всё та же: подавай нам новизну да неожиданность. Разве гений типичен? Он стихиен. Разве он стремится к безупречной форме? Он разрушает старые формы и создаёт новые, небывалые. Ведь так? Нас подводят к расхожей мысли

времён русского футуризма: безупречность — другое имя посредственности. Что же, спрашивается, Северюхин любил в Ходасевиче? Ведь у Ходасевича каждая строфа, каждый стих утверждают вечные и никем не отменённые истины поэзии: что форма и содержание составляют нерасчленимое единство; что тяга к безупречности, к совершенству, присуща искусству и для самого художника имеет смысл богоискательства, выступает как молитвенное служение триединому идеалу истины, добра и красоты… Нет, говорит нам образованная тогдашняя (да и теперешняя) толпа: форма есть нечто отдельное и самодостаточное…

Хорошо помню мою последнюю встречу с Северюхиным. Произошла она по обоюдной договоренности 24 сентября 2010 года, уже не в Летнем саду (где в 2002 году мы встретились случайно), а на Моховой улице в доме 15, в приемной фонда имени Лихачева. Кем Северюхин состоял при фонде, этого не помню; где-то в другом месте он уже профессорствовал по части искусствоведения. Из его электронного письма я знал, что он как раз недавно, 17 сентября 2010 года, в очередной раз женился. Я пришел его поздравлять. В приемной имелся стол для гостей, я принёс большую бутылку белого массандровского портвейна за 240 рублей, которую мы с ним тут же и выпили, вспоминая минувшие дни и не забывая наших новых подвигов.

Среди прочего Северюхин сообщил мне, что он издал большой энциклопедический словарь русских художников, живших и творивших за рубежом. Попали в словарь и те, кто был вывезен из России ребёнком и чуть ли не те, кто родился в эмиграции в русских семьях…

…Нам с Северюхиным и в Ленинграде случалось выпить по душам. В своих воспоминаниях он рассказывает (страницы 32-34):

> «К осени 1982 года работа над вторым томом собрания Ходасевича была в основном завершена. (…) Двухтомное машинописное собрание стихотворений Ходасевича с нашими комментариями и статьями стало циркулировать в городе в конце 1982 года. А вскоре Колкер получил из Парижа первый том этого собрания, выпущенный Владимиром Аллоем в издательстве "La Presse Libre". (…) Юрий Колкер пришел с книгой к нам в гости. Я сбегал в магазин и принес бутылку армянского коньяка "Наири" (это действительно был великолепный армянский коньяк, о каких-то подделках в те времена не было речи), а Ирина случайно купила на работе прекрасные бананы — исключительную в то время редкость. Мы наслаждались коньяком и бананами, а главное — тем замечательным чувством, которое всегда сопутствует завершению хорошей работы…»

Здесь Северюхин в первый раз ошибается: двухтомник Ходасевича выпустил не Владимир Аллой (1945-2001), а именно издательство *La Presse Libre* при парижской газете *Русская мысль*, тогда лучшей русской газете мира. Не один Аллой, в ту пору сотрудник *Русской мысли*, работал над изданием, и не он, как я теперь понимаю, был инициатором издания. Однако эта ошибка Северюхина была более чем простительна и даже неизбежна. Все вокруг ее разделяли. Я сам, уже из Иерусалима, благодарил за издание моего Ходасевича не *Русскую мысль* с ее главным редактором Ириной Иловайской-Альберти (1924-2000), как следовало

бы, а именно Аллоя, — уж такое впечатление создалось у всех в Ленинграде; с этим впечатлением я и эмигрировал в 1984 году — и оказался без вины виноватым перед *Русской мыслью*, в которой Аллой к этому времени уже не работал. Подчеркнуть эту мою ошибку, общую с Северюхиным, считаю моим долгом.

В приведённой мною цитате есть у Северюхина изумительная деталь, которой сам он, видно, значения не придавал, но которая может пригодиться будущим историкам Совдепии: бананы его тогдашняя Ирина «купила на работе», но она не была работницей прилавка, это уж точно, она, скорее всего, работала в каком-нибудь учёном институте, как это было принято у приличных ленинградцев. Нужно ли что-нибудь объяснять? И можно ли объяснить такое непосвященному, не окроплённому святой водой большевизма? Бывало, разносится по городу слух: «Сапоги выбросили!», и все понимают, что где-то продают дефицитную импортную обувь. Где? Да вот в книжном магазине за углом…

Русская мысль отчитала меня, но простила мне мою бестактность и привечала меня в мои первые годы за границей, ещё в Израиле; даже какие-то далеко идущие планы со мною связывала. Сохранились письма Иловайской, где она обещает выписать меня в Париж и даже книгу моих стихов издать. Но я этим благорасположением Иловайской не воспользовался.

Между тем двухтомник Ходасевича если не прямо стал сенсацией, то, во всяком случае, не прошёл незамеченным, и в год своего появления был куплен всеми крупными библиотеками мира, начиная с вашингтонской библиотеки конгресса. Конечно, он мог бы получиться лучше; кто без греха? Иные примечания очень нуждаются в уточнении. Но это всё-таки был первый комментированный Ходасевич, к тому же выполненный с любовью, лучшей путеводной звездой в каждом деле. *Айдесскую прохладу* — мою статью о Ходасевиче, приложенную к двухтомнику, — читали с восторгом ещё в Ленинграде, прочли очень многие, а при наступлении свобод многие использовали её в своих диссертациях. Её продолжают читать и в новом тысячелетии. Не у всякого вспомогательного текста жизнь столь продолжительна.

На страницах 35-36 своих воспоминаний Северюхин рассказывает:

> «В 1996 году в одном из интервью Владимир Аллой уделил Колкеру и мне несколько теплых слов и поведал о том, с какими трудностями ему пришлось тогда столкнуться. Оказывается, знаменитое издательство "Ардис" одновременно с нами готовило к выпуску академическое издание собрания сочинений Ходасевича (составители Д. Малмстед и Р. Хьюз). Узнав о выходе нашего двухтомника, руководители издательства высказали Аллою претензии относительно авторских прав. Володе пришлось срочно связаться с Ниной Берберовой [третьей женой Ходасевича], вмешательство которой устранило назревавший конфликт. Стало известно мне и то, что переправкой рукописи за границу занималась поэт [sic!] Тамара Буковская — научный сотрудник музея-квартиры Пушкина на Мойке и жена замечательного художника Валерия Мишина…»

Упомянутого интервью я не читал и не слышал о нём; о претензиях Малмстеда и Хьюза

слышал — и по сей день не перестаю изумляться их вздорности и низости. Какие авторские права?! Разве я хоть что-то взял у этих служилых литературоведов на жалованьи, с которыми даже заочно не был знаком, к публикациям которых не имел и не мог иметь доступа? Я работал самостоятельно и самоотверженно, не за деньги, не ради должностей или отличий, а от душевной потребности, работал в неимоверно трудных условиях (кочегарка — не лучшая студия для такого рода занятий), а жил в нищете, под угрозой ареста, с ГУЛАГом в качестве вероятной награды. Какие претензии могли иметь ко мне эти баловни судьбы из свободного мира? Они приезжали в Россию в командировки от своих богатых университетов, и перед ними ковровую дорожку стелили. Их пускали в архивы, о которых я не мог и мечтать. Жаль, что Северюхин не уточняет, как именно эти американцы сформулировали свой постыдный, свой подлый вздор… жаль мне и того, что сам я не был в те давние годы любопытен и не уточнил этой формулировки. А впрочем — нет, не жаль! Не был я любопытен, это факт; не интересовался вещами закулисными. По правде сказать, и сейчас палец о палец не ударю, чтобы уточнить что-то. Слишком очевидно, что правда на моей стороне. Но уж и моего презрения к этим карьерным начётчикам от литературы скрывать не стану.

Неясно мне и то, как вмешательство Берберовой могло вразумить американцев. С Берберовой я состоял в переписке. В 1983 году она написала мне письмо с восторженной оценкой первого тома моей работы. В Ленинграде я этого письма не получил, оно нашло меня два года спустя в Иерусалиме. Незачем говорить, что письмо меня обрадовало и что переписка с живым представителем первой русской литературной эмиграции, пусть и не из первого ряда, была для меня драгоценна; однако в ходе этой переписки мы с Берберовой поссорились. Ей почудилось высокомерие в моём тоне, мне — в её тоне.

С Аллоем я познакомился в Париже в январе 1986 года, но не подружился и с тех пор больше с ним не общался, если исключить один телефонный разговор, случившийся в 1998 году. По моей догадке, Аллой не мог простить мне моей критической статьи о Бродском; так, во всяком случае, мне говорили… Прав, прав Северюхин: характер у меня, при видимой мягкости и уступчивости, — скверный, неуживчивый…

Стихи Тамары Буковской я оценил еще в Ленинграде, в начале 1980-х, когда участвовал в составлении машинописной антологии неподцензурной поэзии *Острова*; не разочаровался в них и позже. Не разочаровался и в человеческих качествах поэтессы (не вижу нужды называть поэтессу поэтом, хоть и помню, что это правило восходит к Ахматовой). Буковская была из новых православных, что в те времена, каковы бы ни были глубинные мотивы людей, в первую очередь имело форму вызова большевизму и, как всякий нонконформизм, не могло не внушать уважения.

О Валерии Мишине в ту пору говорили, что он не просто «замечательный художник», а лучший график современности. Потребность в такого рода титулатуре, снедавшая тогдашние артистические круги, выражала другую потребность, латентную: во что бы то ни стало заслониться от пронизывавшей всё и вся *советской провинциальности*, от мучительной догадки, что все мы, жители отсталой захолустной Совдепии, оттеснены на обочину истории и культуры (именно эта же потребность до небес вознесла в Совдепии Бродского и Шемякина, сообщила им, на Западе не слишком заметным, их auctoritas среди бывших соотечественников).

Но была в такой оценке Северюхина и важная правда: рисовальщик Мишин был замечательный. Я же, кроме восхищения его работами, испытывал к Мишину еще и человеческое расположение, основанное на благодарности. Однажды устроили мне в Ленинграде квартирное чтение стихов. Дело было как раз после моего отказа вступить в Клуб-81, то есть осенью 1981 года. Ехать пришлось на какую-то далёкую окраину; приехал я (характерная беда) раньше моих слушателей, и в квартиру меня впускать не хотели — как человека незнакомого. Среди слушателей оказался известный в тогдашнем полуподпольи автор Виктор Кривулин, которого я знал со времен поэтического кружка при дворце пионеров, но никогда прямо с ним не общался, стало быть, и знаком формально не был, а в последующие годы уже и не хотел знакомиться, потому что стихов его не любил и в талант его не верил. Был там и Мишин; его в ту пору я либо еще не знал, либо не узнал в немногочисленной, но тесно рассаженной группе слушателей. После чтения началось обсуждение моих стихов, которое свелось к критическому монологу Кривулина. Он говорил, что моя эстетика устарела, что я закрепощён правильными метрами и правильными рифмами, не экспериментирую в стихе, а повторяю сказанное тысячу раз. Был выложен весь стандартный набор возражений, который ещё в 1920-е годы современники (не исключая Тынянова) предъявляли Ходасевичу. Занятно, что вся эта критика не помешала Кривулину тут же настоятельно рекомендовать мне пересмотреть мой отказ и всё-таки вступить в Клуб-81.

Никого из прочих слушателей я не знал ни в лицо, ни по имени; в незнакомой обстановке чувствовал себя потерянным, не хотел и не мог защищаться и самоутверждаться; выслушав Кривулина, пожал плечами, промямлил что-то вроде «чем богаты, тем и рады» и начал укладывать в портфель тетрадки. Тут выступил Мишин и пункт за пунктом, убедительно и веско, отвёл все доводы Кривулина, а затем и в целом похвалил мои стихи, как сам бы я похвалить не решился; говорил об их точности, стройности и нравственной насыщенности, о достоинстве занятой мною общественной и литературной позиции, — всё это к моему вящему изумлению, потому что от художника не ждёшь красноречия, а от постороннего — поддержки. Так это и осело в моей памяти, в моём сознании: Мишин понимает стихи. Помню и последнюю мою предотъездную встречу с ним в Доме писателя на улице Воинова в 1983 году; увидав меня, Мишин попросил фотографа Володю Иосельзона снять нас вместе под его гравюрами. Снимок сохранился.

Но вот прошли десятилетия. Третьего мая 2006 года я опять публично читал стихи в том же городе, в четвёртый раз изменившем своё имя; читал на набережной Макарова в доме 10, в литературном вертепе, тоже несколько раз менявшем имя и хозяина. Мишин опять оказался среди слушателей, опять что-то произнёс в связи с моими стихами. Что именно, я не услышал; всё заслонила фраза: «…вот недавно умер гениальный поэт Геннадий Айги…». Тут уж я не растерянность испытал, как в 1981 году, а прямое бешенство. Айги был и

остаётся для меня хрестоматийным примером бездарности, о чём я писал в парижской *Русской мысли* и, после наступления *свобод*, в московском *Новом мире* ещё при жизни этого лукавого приспособленца, а тут высказал моё отношение Мишину и всем присутствовавшим слушателям (которых было немного)… Поистине, времена меняются, и мы меняемся с ними! Что произошло с Мишиным? Не померещилось ли мне то, что он же говорил обо мне за четверть века до того? Он ли говорил?

Перепалка меня с Мишиным не поссорила. После выступления Мишин вызвался нарисовать мой портрет. Пятого мая 2006 года мы встретились в его студии в Апраксином переулке, я просидел перед художником пять часов в несколько напряженной позе, когда же встал, на листе увидел не себя, а, странным образом, моего отца, но с несвойственной ему фатовской полуулыбкой Мишин и сам был недоволен своей работой; сказал: «получилось непохоже».

В тот же мой приезд в Питер в первый и последний ра оказался я в гостях у Буковской и Мишина где-то на Садовой. Что меня привело туда, не помню. На прощание, после застольной кухонной беседы в духе старых добрых времен, я, кроме сборника стихов Буковской, получил в подарок еще несколько тонких книжек — … со стихами Мишина. С этими книжками теплое чувство к нему, пронесенное через десятилетия, улетучилось у меня навсегда. Пропал и вопрос, как Мишин мог назвать Айги гениальным поэтом. Я был бы счастливее, если б не читал стихов Мишина…

Северюхин продолжает:

> «Черновые материалы к этой работе [двухтомнику Ходасевича] Колкер и я отдали начинающему тогда литератору Мите Волчеку, который вскоре стал известен как издатель [машинописного] журнала "Молчание" и "Митиного журнала", а в 1999 году получил за эти журналы премию Андрея Белого. В конце 1980-х годов Волчек был привлечен к работе над первым советским изданием стихов Ходасевича в серии "Библиотека поэта" (Л., 1989). Использовав в комментариях с нашего разрешения многие найденные нами сведения (в том числе и в отношении поэтических переводов), составители этой книги почему-то сочли возможным тут же дать негативную оценку нашему труду, охарактеризовав его как "имеющий недостатки и не претендующий на научную ценность" (сами недостатки при этом не назывались). К сожалению, такого рода бестактность и пренебрежительное отношение к труду своих предшественников стало нормой, в чем я неоднократно убеждался и в дальнейшем…»

Вот ещё один престранный любитель Ходасевича: Митя Волчек. Тоже сочинитель стихов. Ещё один Айги, имя же им легион. Знай я в ту пору, что ´ и как этот Волчек сочиняет в стихах, я не подпустил бы его к себе на пистолетный выстрел. Это ведь анекдот какой-то:

люди, очевидно, думают (никакой другой логики нельзя вообразить), что во времена Ходасевича ещё можно было писать правильными метрами с правильной рифмой, а *уж в наше-то время* нужны ритмы непременно убогие, а рифмы уродливые, — без этого мы современны. Бедный, бедный Ходасевич! Вот уж повезло ему с ценителями, с читателями в потомстве.

А что Митя недобросовестен оказался или, там, неблагодарен, это по мне сущий пустяк. Ходасевич был эпизодом в моей жизни, не эпохой и не кормушкой. Мой труд не полинял ни пёрышком от недобросовестности последышей. Никогда мне и в голову не приходи выступить с возражением Волчеку или его сообщнику Богомолову, из того же помёта. В их труд я едва заглянул, сразу же наткнулся на несколько несуразностей и читать бросил. Этот Богомолов в своей статье о Ходасевиче, не моргнув глазом, сообщает, что, мол, когда Ходасевич ребёнком, «выпал из окна, но встал живой» (это строка из стихотворения «Не матерью, но тульскою крестьянкой…»), спасла его няня, но это — выдумка чистой воды. Всё указывает на другое: няня недосмотрела за ребёнком, когда же он уцелел, «свечу за чудное спасенье у Иверской поставила она».

Но в одном отношении подельники Волчек и Богомолов правы: работа моя, точно, имеет недостатки (как и *всякая* работа), а в другом они правы настолько, что я даже хочу их задним числом поблагодарить: нет у моей работы «научной ценности», на все сто процентов нет; вся моя работа, от начала до конца, — не научная, а литературная. Зря они о науке заикаются. Литература исследуется только средствами литературы. Наука, в точном значении этого слова, к исследованию литературы неприложима (что, конечно, не мешает иному литературоведу быть человеком начитанным и думающим); наука и пресловутое литературоведение — «две вещи несовместные». Литературоведение иногда возвышается до философии (конечно, не у Волчека и Богомолова), примеры известны; но ведь и философия — не наука. Когда эту простую истину уразумеют в Москве и окрестностях?

Продолжаю выписки из Северюхина. На страницах 36-37 читаем:

> «Вскоре после выхода парижского издания Ходасевича Юрий Колкер начал издавать машинописный "Ленинградский еврейский альманах" и приглашал меня к сотрудничеству. Еврейский вопрос тогда начинал приобретать политическую остроту как в связи с общей международной обстановкой вокруг Израиля, так и в связи с проблемой эмиграции евреев. Я, честно говоря, не очень понимал позицию русских по языку и культуре людей, которые вдруг вспомнили о далеких предках и стали настойчиво заявлять о своем еврействе, почти преднамеренно идя на конфликт с государственными охранительными органами. Единственным логическим объяснением этому могло служить их желание во что бы то ни стало выехать из СССР. Впрочем, многие из тех, кто упорно добивался от властей разрешения на эмиграцию (в том числе и Юрий Колкер), вполне искренне уверовали тогда в свое еврейство. Я, однако, не был столь увлечен еврейской темой, вовсе не собирался эмигрировать и совершенно не хотел подвергать себя и своих близких вполне реаль-

ной опасности ради чисто литературных интересов…»

Здесь я возражу. Всё это так, да не совсем так. Не я «начал издавать» Ленинградский еврейский альманах; я был к нему привлечён, согласился участвовать нехотя (предприятие ведь было нелитературное!), участвовал в подготовке первых трёх выпусков (наряду людьми куда более деятельными и целенаправленными), основательно отредактировал эти три выпуска (иные скверно написанные статьи попросту переписал от начала до конца), принялся составлять четвёртый выпуск, а последующие появились уже после моей эмиграции. Деталь пустяковая, но для меня важная. Портрет ведь мой? Не хочу брать на себя лишнего. Честь тут принадлежит другим, а мне — только труд и усердие. Вождём, лидером, деятелем я не был никогда. В любом «трудовом коллективе» я всегда стремился быть последним, а не первым; ни в каком коллективе не мог работать в полную силу; всегда хотел работать в одиночку (случай с Северюхиным — единственное исключение). Все коллективы, кроме семьи и человечества, всегда казались мне лишними, стесняющими мою свободу.

Зато «единственное логическое объяснение» Северюхина безукоризненно правильное: я вот именно что хотел «во чтобы то ни стало выехать из СССР». И о моём еврействе, как это случалось с другими задолго до меня, я не вспоминал, не хотел вспоминать (это ведь коллектив), но — мне напомнили. Северюхин меняет местами причину и следствие. Если бы выезд из Совдепии был свободным; если бы антисемитизм в стране был умеренным, — не было бы и еврейской эмиграции. Один умный шутник пустил в отказницкой среде Ленинграда будто бы кхмерскую пословицу: «В стране, из которой можно уехать, можно жить»…

«Уверовал» ли я моё еврейство? В сентябре 2010 года, во время той памятной и последней встречи с Северюхиным под крылом Лихачёва, я, чтобы поддразнить собеседника, сказал ему, что, конечно, в итоге, после всех моих опытов, после шести лет в Иерусалиме и двадцати в Лондоне, я считаю себя русским. Эффект был тот самый, которого я ожидал. Северюхин замер на мгновение, а потом удовлетворенно произнёс:

— Ах, значит, всё-таки русским!

Будь у меня с собеседником отношения более сердечные, я сказал бы иначе: я не сумел стать евреем в той мере, как мне хотелось, не до конца проникся поэзией этого древнего имени, — но и русским в теперешнем смысле я быть перестал; о первом жалею, второму рад. Я сижу между двух стульев. Я бегу по нейтральной полосе под выстрелами с двух сторон… Моей родиной была и остаётся не геогрфическая единица, а просодия пушкинского стиха.

Северюхин прав: натягивать на себя национальность, врастать в культуру, не впитанную с молоком матери, дело искусственное. Англичане по сей день подтрунивают над шотландскими юбками в песенке: «Доналд, вэр'з ёр трузерс?» «Желание быть испанцем» премило высмеяно в русской поэзии еще в XIX веке, — мне ли было не знать этого?

И Северюхин неправ: иногда это натягивание, это врастание — единственный способ сохранить человеческое достоинство, а то и просто выжить. Именно такое положение сложилось для меня и моей семьи в том памятном месте в те памятные годы: в проклятом Ленинграде, не к столу будь помянут, в годы афганской войны. «Я, честно говоря, не очень понимал», пишет Северюхин. Что ж, здоровый не понимает больного, сытый говорит голодному: нет хлеба, так ешь пирожные. По еврейской шутке, рай и ад — одно и то же место: где

одним хорошо, другим плохо. Что немцу хорошо, то русскому смерть. Не могла моя жена «покупать на работе бананы», не могла и лекарств покупать для себя и дочери — ни на работе, ни в аптеках, ни в страшных советских больницах, где её сделали инвалидом в 34 года, ни в каком другом месте «необъятной родины моей». Чтобы достать ей лекарства, я бы, пожалуй, и никарагуанцем стал, не то что евреем.

Да, Северюхин прав: я «уверовал». Далось мне это мучительно. За всю мою долгую жизнь не помню более гнетущего чувства, чем то, что владело мною в момент эт фазового перехода: из русских в евреи. Я вырос в сознаньи, что я — русский, что всё русское — хорошо. А тут! Вселенная разламывалась. В детстве меня потрясли два стиха Семёна Кирсанова (что он еврей, я понятия не имел):

Вот плывут рядом две больших глыбы, исходя паром,
а они были, да, одним домом, да, земным шаром.

Этот мой фазовый переход, случившийся еще *до эмиграции*, переход, которым горжусь, — сопровождался первым и единственным приступом ностальгии в моей жизни. Уж Цветаева говорит про ностальгию: «разоблачённая морока», я же скажу по Марксу: у пролетария нет родины, а значит — и ностальгии. Ностальгия устарела. Сегодня она — болезнь барская. Да не так ли и прежде-то было?

Да, я хотел стать евреем; предавался этой мечте с искренним душевным пылом, подлинной страстью; но не преуспел. Не сдюжил. Мечтал, а вместе с тем всегда знал, что до конца раствориться в этой мечте не смогу, — потому что не в ней был выращен, потому что другая мечта, пушкинская, до старости не оставит меня.

Как, однако, странно устроена заключительная фраза этого куска у Северюхина! Он «не хотел подвергать себя и своих близких вполне реальной опасности ради чисто литературных интересов»! Разве мои интересы в этом случае были литературными? Разве я уезжал только потому, что меня прекратили печатать в Совдепии? Собственно говоря, и такое было бы вовсе не стыдно признать. Свобода самовыражения — неотъемлемое человеческое право. Разве писатель не задыхается без читателя? Разве мы не слышали этого страшного шёпота обречённого Мандельштама: «Читателя, советчика, врача»? Но ведь Северюхин знал другое: о моей безвылазной коммуналке, о нашей нищете, о болезнях Тани и Лизы; знал, что речь идёт о спасении моих близких. Тут уж «подвергнешь себя опасности», забудешь о ней…

Конечно, от нищеты и болезней можно было и по-другому избавиться. Были, бы способы. Не говорю о самых мерзких: уступить лжи, «вступить в партию». Северюхин о таком и помыслить не мог… Но как же он не видел: уезжая, я *жертвую* моим литературным призванием, ставлю семью выше главного смысла и главного наслаждения моей жизни? Зачем поэту жена-инвалид? Где тут вдохновение черпать? Самый дешевый источник — пересох. У поэтов ведь как? влюбился — написал; ещё раз влюбился — ещё написал, а когда пишется — ты кум королю и сват министру. Будь у меня литература на первом месте, я сменил бы не страну, а жену: взял бы здоровенькую и с квартирой… а потом прогнал бы её, другую бы взял, помоложе и с квартирой побольше, отчего и литературы бы прибавилось. Знаю такие случаи. В Совдепии мужчина был вельможа, а женщина — просительница.

Предложение опережало спрос. Но передо мною даже на крохотную секунду не вст вопрос о выборе между страной и подругой. И у Тани не было ни тени сомнений. Она вдосталь нахлебалась родины, не понаслышке, а по больницам знала о пресловутой русской сердечности, русской задушевности. Так и вышло, что мы оба с лёгким сердцем забыли о наших, её и моих, русских предках, а сосредоточились на моих еврейских. Причём здесь кровь? Быть евреем — призвание…

Повторю до оскомины: мы забыли о «чисто литературных интересах», Северюхин некстати упоминает о них. Двери в западные страны были распахнуты, и русская литература была там, не в Израиле. В Нью-Йорке, в Париже, в Германии нас ждали знакомые и друзья, нам обещали поддержку, сулили работу, — а в США ждали и специальные льготы для советских беженцев да плюс уже снятая друзьями специально для нас квартира. В Израиль же — повторю ещё раз, это тут к месту, — нас привела не сионистская мечта, прекрасная, возвышенная и поэтическая, однако ж не наша; нас привела туда совесть, ведь большевики твердили, что не выпускают евреев потому, что те едут мимо Израиля, и мы не могли предать оставшихся.

Что, однако ж, я сказал публично, сойдя с трапа самолёта в Израиле? Я заявил, что я не сионист, а толстовец и русский поэт… А «чисто литературные интересы», место которым было в Нью-Йорке и Париже, даже и здесь, в Израиле, подсказывали другое: раз уж приехал в Израиль, назовись сионистом; раз уж пишешь стихи, воспой нашу великую мечту (действительно, великую), нашу прекрасную страну (действительно, прекрасную). Нет, сказал я себе; мой мир распался, но мой выбор сделан; зажму рукой незаживающую рану, буду жить, как умею, останусь на ничьей земле, на нейтральной полосе, под выстрелами справа и слева.

Северюхин продолжает:

> «Летом 1984 после неоднократных отказов Юрий Колкер получил разрешение уехать с семьей в Израиль. Накануне отъезда я несколько раз побывал у него в коммунальной квартире на Шпалерной улице (ул. Воинова). Юрий с женой Татьяной и маленькой дочкой Лизой жили в большой, перегороженной шкафами комнате. Потолок в комнате разрушался, обстановка была ветхой и неуютной, а настроение хозяев — тревожным и нерадостным…»

Всё точно. Комната была большая (27 квадратных метров) и неуютная. Будь она меньше, у нас оставался бы шанс получить в будущем, пусть отдалённом, квартиру от государства; «на очередь ставили» тех, у кого было меньше пяти квадратных метров на человека, а нас не поставили. Потолок в комнате обваливался не в первый раз. Был случай, когда большой кусок штукатурки килограмма в три весом упал рядом с кроватью Лизы… страшно вспомнить… Починка считалась делом жилищной конторы. Конечно, мы бы и сами отремонтировали неуютную комнату, если б не наша нищета; ремонт требовался нешуточный; дом был постройки XIX века, над нами находился чердак под дырявой крышей.

Верно и то, что настроение в последние дни перед отъездом было у нас «тревожным и нерадостным». Разрешение на эмиграцию мы получили 21 мая 1984 года и в первые дни захлёбывались от счастливого возбуждения, но потом оно схлынуло. Навалились неприятно-

сти. Заботы и хлопоты по сдаче жилья государству со всеми советскими ужасами, раздражение и гнев родственников, презрительное высокомерие окружающих, включая соседей по коммунальной трущобе, глухое неприязненное отношение многих знакомых (в первую очередь литераторов-почвенников, к которым, пусть и нетипичным образом, примыкал и Северюхин) — всё это быстро изменило наше состояние. Мы были совершенно одни. Танино здоровье ухудшалось. Отъезд, назначенный нам на 11 июня 1984 года, пришлось отложить из-за ее гипертонического криза… — и хорошо сказать: «пришлось отложить»; на самом деле разрешение сдвинуть дату на шесть дней едва удалось вырвать (с кучей медицинских справок у руках) у гнусных советских эмиграционных чиновников. Мы улетели в Вену 17 июня 1984 года, хотя Тане так и не стало легче. Я боялся, что не довезу ее живой.

Прав Северюхин и дальше, когда живописует состояние ужаса и отчаяния, по временам овладевавшее мною. Мы уезжали навсегда, без возврата. Уезжали в никуда. Профессию я потерял в моих кочегарках. Что Таня сможет работать, об этом и не мечталось. Родни за границей не было. Все наши друзья жили в США и в Западной Европе, там и только там были гарантированы нам поддержка и живое участие близких, в Израиле же не было никого. Меня буквально пожирал вопрос без ответа: имею ли я право везти Таню и Лизу в Израиль, страну неустроенную и бедную, находившуюся в состоянии войны с двадцатью двумя арабскими странами. Ответа на этот вопрос не было потому, что совесть, как уже сказано, не позволяла проехать мимо Израиля. Не в Израиль нас тянуло, а в среду русской зарубежной литературы, в англоязычный мир (ни одного языка, кроме английского, мы толком не знали, хоть я и принимался за многие), и — подальше от большевиков. Тянуло в США, в Канаду, даже в Австралию, где мы, в безнадежные годы отказа, мечтательно выбрали город с красивым именем Аделаида. Произнеси Таня в те дни хоть одно слово сомнения; дай хоть намёком понять, что возражает против Израиля, — ведь мы, в конце концов, не сионисты, а толстовцы и русские литераторы, — и я бы переступил через свою совесть, последовал бы совету Марка Твена, который включал спящую совесть в рецепт счастья. Но решение наше, решение общее, осталось прежним. Страшное время! Спасибо Северюхину, что напоминает мне о нём. Сам я не то чтоб вовсе забыл этот ужас; нет, сохранилось и зарифмованное свидетельство, возникшее 7 апреля 1984 года, на второй день после того, как нас вызвали в ОВИР и велели быстро возобновить наше прошение об эмиграции:

Совершается судьба.
Разверзаются гроба.
Небо улыбается.
Ноги подгибаются…

(как сейчас вижу ситцевое ленинградское небо над Пушкарской улицей, где я прощался с друзьями! стихи — та же машина времени, спасибо им), — но вся моя последующая жизнь так прочно заслонила эти дни и часы, что вспоминал я их нечасто, забыть же о таком было бы неправильно.

А вот и другое свидетельство моего малодушия, тоже в стихах:

Отечество! Одушевленных мест
И ласк твоих прощальных не забуду.

Навек запомню Юрловский проезд…
Москва, Москва! со мною ты повсюду
Останешься — какою ты была
В календы майские, в мой бесполезный
Приезд, впервые — дружески тепла,
Вся в зелени, младенческой, чудесной.
Прости! тебя я поздно полюбил.
Теперь, как ты, — моим слезам не верю,
Но все же знай, что я несчастлив был
Перед последней, невозвратной дверью.

Этих стихов я всегда стыдился, не публиковал их, но не из-за моего предотъездного малодушия, не из-за моих «слез», а из-за первого и единственного в моей жизни приступа любви к Москве (спасибо гостеприимству Саши Сопровоского и Тани Полетаевой, у которых мы жили в Юрловском проезде с 28 апреля по 3 мая 1984 года), хотя, конечно, всё связано, и самый этот приступ — свидетельство моего малодушия. Приступ прошел, моё отношение к Москве быстро восстановилось. Смысл его тот, что Москва — исторически — никакое не отечество, а его отрицание: *главный и единственный враг России на протяжении веков*. Так было при Петре Первом, так это с новой силой обнаружилось в 2014 году. Зато уж здесь эти стихи к месту. Дата под ними — тоже; 16 мая 1984 года мы получили выездные визы, которых добивались долгие годы.

Северюхин пишет:

> «Перед самым отъездом Колкер ненадолго зашел к нам в гости. Он был в совершенно подавленном состоянии. Стоя в прихожей, по обыкновению, потупив взор и почесывая бороду, он произносил грустный монолог о причинах своего решения эмигрировать. При этом он, казалось, совершенно не обращал внимания на то, как, цепляясь за брюки, по обеим его ногам упорно карабкались вверх наперегонки два наших котенка. Этот трагикомический образ печального поэта, беззащитного перед бытовыми обстоятельствами, остался в моем сознании как память о нашей последней встрече…»

Да-да, именно так и было: не в треуголке и с саблей наголо, а в растерянности и страхе. Доблесть очень часто плохо осведомлена и всегда лишена воображения. Поправку к словам Северюхина сделаю крохотную: я говорил не «о причинах своего решения эмигрировать», а о причинах того, почему еду именно в Израиль. Остальное воспроизведено безупречно.

Никто, между прочим, не верил, что мы поедем в Израиль, даже КГБ. Все вокруг были убеждены, что из Вены мы прямиком отправимся в Рим, где эмигранты ждали виз в англоязычные страны. Это мнение о нас настолько было всеобщим, что каким-то образом даже за рубеж перекинулось, и в Вене представитель Сохнута встретил нас поначалу хмуро и неприветливо. Там, в Вене, когда всё, связанное с Совдепией, было уже окончательно и навсегда позади, — там всё ещё не поздно было перерешить этот вопрос; там достаточно было произнести одно-единственное слово — и мы с Таней вскоре увидели бы Авзонию Пушки-

на, влажный Элизий земной Боратынского, страну, о которой страстно мечтали с юности, зачитываясь запретной книгой Павла Муратова *Образы Италии*… Увидали бы страну, о которой я сказал себе ещё подростком: если не побываю там, жизнь не удалась…

Насчет почесывания бороды, второй раз помянутого Северюхиным, добавлю кое-что не совсем льстящее мне, что давно хочу добавить. По матери я Чистяков. Слово чистяк в Ярославле и окрестностях означает человека с чистой кожей, у меня же (завидую ла-Рошфуколю) как раз никогда не было чистой кожи, тут фамилия подвела, и, что греха таить, не только бороду я почёсывал (которую и завёл-то отчасти именно по этой причине, из-за пористой кожи), а и лоб, и щёки. Старые снимки, особенно цветные, начавшиеся после эмиграции, бессердечно изобличают эту мою беду, показывают, что я в чистяки не гожусь. А в Ленинграде, между прочим, и то не помогало делу, что в нашей жуткой коммуналке не было ванной с горячей водой. Десять лет, что мы прожили на улице Воинова (дом 7 квартира 20), по части личной гигиены были сущей мукой. Ванная именно была для нас землёй обетованной (я всегда недоумевал, как это Маяковскому разрешили такое напечатать; видно, его пролетарские кураторы даже вообразить себе не могли жизни без ванной). А для нашей дочери Лизы ванная и земля обетованная совпали буквально; до приезда в Израиль она могла мыться в ванной только в гостях.

Русая бородка (прикрывающая прелести коммунального быта), намечающееся брюшко (следствие бедности), «довольно высокий» рост (в ту пору всего-то 180 сантиметров… сейчас, когда пишу, и того меньше)… Чтобы покончить с моей наружностью добавлю еще одно: глаза у меня не черные, как у ла-Рошфуколя, и не карие и миндалевидные, как у моего отца, а серые с голубым отливом — как у моей матери и моего деда, большевика и красноармейца Фёдора Ивановича Чистякова. Когда я надеваю синюю рубашку, они становятся голубыми. Есть у моих глаз и редкая особенность: они лишены ободка вокруг радужной оболочки.

Ну, и котят, которые ползли по моим штанинам в прихожей Северюхина (где-то на проспекте Науки), я не то чтоб не заметил, а просто не до этих милых существ было мне в тот момент. Прощаясь с Северюхиным, я выполнял долг вежливости; я спешил. В остальном, как всегда у этого художника, зарисовка верна. Сейчас, пожалуй, я бы поощрил Северюхина углубить созданный им образ, присурдинив к нему мои стихи той поры, сказанные другому прозаику по другому поводу:

Ты в меня воплотись, напиши обо мне:
Как я жалок и немощен был,
Как обиду мою выводил на ремне
И водой Флегетона поил.

Но и так Северюхин написал хорошо; в сотый раз спасибо ему.

Он продолжает:

> «Пессимистические ожидания Юрия, слава Богу, не оправдались, и жизнь его за границей сложилась, как говорят, вполне благополучно. Приехав в Израиль, он стал работать как математик, продолжал писать стихи, печатался в эмигрантских журналах и выпустил несколь-

ко поэтических книг…»

Да, пожалуй, что так: «вполне благополучно», даже — с непременной солоновской оговоркой — *пока* счастливо (Солон, как мы слышали от Геродота, сказал Крёзу: «Никого нельзя назвать счастливым прежде его смерти»). Но это была нелёгкая жизнь, и трудности я по большей части создавал себе сам… не мог не создавать; omnia mea mecum porto. О моих радостях и бедах в Израиле, где я прожил пять с половиной лет, я уже рассказал, как умел, в моей книге с несколько вызывающим названием. Кончается книга словами:

> …за все мои годы в Израиле, числом пять с половиной, в лучшей стране на свете нашелся один-единственный пакостник, постоянно отравлявший мне жизнь: я сам.

И меня услышали! Один добрый человек, называющий себя поэтом, чуть-чуть поправил эту фразу. В его воспоминаниях она читается иначе:

> «На свете [мило, не правда ли?] нашелся один-единственный пакостник, постоянно отравлявший мне жизнь: я сам…»

А Северюхин вздыхает о недобросовестности литературоведов!

В ленинградские годы вокруг Северюхина все писали стихи, так уж была устроена тогдашняя жизнь, тогдашняя полуподпольная среда, в которую нас вытолкали; но лишь мои стихи Северюхин цитирует в своих воспоминаниях, — вот чудак…

> «Однажды в букинистическом магазине на Литейном я случайно наткнулся на один из них [моих "сборников стихов", — Ю. К.] — "Послесловие", изданный в Иерусалиме в 1985 году. Там я нашел и хорошо знакомый мне колкеровский "Памятник":
>
> Слух обо мне заглох в подвалах на Шпалерной
> Я не шутя любил мой безъязыкий век
> И Бога лишь о том молил нелицемерно
> Чтоб знать меня не знал латыш или узбек. …»

Да, было такое стихотворение, сочиненное 6 декабря 1977 года. Сколько воды утекло! Воспоминаний Северюхина у меня сейчас под рукой нет, есть лишь выписки из них. Кажется, он приводит только отрывок из *Памятника*. Вот это стихотворение целиком:

> Я памятник воздвиг, от века небывалый,
> Но не скажу — себе, скрывая торжество.
> Не то что пирамид, а нет былинки малой,
> Упрятанной от глаз надежнее его.
>
> Умру я весь, дотла. Пусть смерть намек изгладит
> Об имени моем из памяти людской, —
> В ней, гордый внук славян, я, твой еврейский прадед,
> Равéнство предвкушал, свободу и покой.

Слух обо мне заглох в подвалах на Шпалерной.
Я не шутя любил мой безъязыкий век,
И Бога лишь о том молил нелицемерно,
Чтоб знать меня не знал латыш или узбек.

И я не льстился тем, что, времени в угоду,
Фелицу не воспел, на стогны звать дерзнул, —
Любезнее всего я тем служил *народу*,
Что пальцем для свобод его не шевельнул.

Вот, муза, мой итог: твой пасынок счастливый,
Я прожил *эту* жизнь и принял *эту* смерть
И, верю, заслужил награды справедливой:
Мою строку со мной верни в родную твердь.

Это одно из самых мучительных моих стихотворений. Сейчас, спустя десятилетия, мои тогдашние мучения должны казаться смешными. Мне самому они уже едва понятны. А между тем в этих стихах «сердце рвётся пополам». Не мог русский поэт позволить себе назвать себя евреем, да ещё с вызовом. Традиция напрочь отметала такую возможность. Назвался евреем — полезай в общий кузов с Фругом; пишешь по-русски — будь русским, забудь, что ты еврей. Это было условие sine qua non. Даже Мандельштам смотрит на евреев глазами постороннего, глазами русского, Пастернак же и вовсе на евреев не смотрит: на кого смотреть-то?! Не смотрел и я, но меня заставили.

И о народе здесь сказано так, как говорить не полагалось: с презреньем. В ту пору я ещё не понимал, отчего вокруг меня не народ, а сброд; я только видел это, знал это всем моим существом — и вот чувство вырвалось наружу. В полуподпольной литературе люди гордились тем, что не пошли в услужение к режиму, «льстились» тем, что служат народу, оставались в русле старинного русского народопоклонничества, — и, конечно, в этих стихах я оскорблял их всех скопом, говоря нечто одновременно очевидное и запретное: что никакая свобода этому выродившемуся народу, этому сброду рабов, вовсе не нужна. Ни одна из свобод ему не нужна — кроме имманентной ему свободы от мысли.

Третье нарушенное мною табу — в стихе «Чтоб знать меня не знал латыш или узбек». Не сомневаюсь, что предвзятый критик обвинит меня в русском, а то и в еврейском высокомерии, тогда как я ведь другое здесь говорю: русские стихи не нужны нерусскому, незачем пихать их ему в нос, он и своих-то поэтов не прочтёт, потому что — *стихи народу не нужны*.

Сейчас оба этих возмутительные по той поре выкрика обречённого — оправдались, доказаны самой жизнью. Русский народ оказался сбродом в такой степени, какой я всё-таки вообразить в ту пору не мог; равнодушие к стихам докатилось до дна, до отрицания Пушкина. Но в 1977 году, произнося в стихах весь этот набор дерзостей, я рвал с традицией, на первый взгляд даже и с пушкинской Россией, — и, тем самым, рвал пополам своё сердце.

И ещё в одном смысле были эти стихи для меня мучительны. Я в них открыто обна-

руживаю мою человеческую слабость, мою беззащитность; я открыто говорю, что задыхаюсь без читателя. Нельзя, нельзя было эту слабость выдавать! Не полагалось. Полагалось изображать себя сильным, победительным, — в угоду тому примитивному читателю, для которого ты либо сверхчеловек, либо не поэт. Полагалось в Наполеоны глядеть. Полагалось спрашивать с горделивой уверенностью: «А Иисуса Христа печатали?!».

И ведь не вовсе я был лишен читателя. Должен я был, по бытовавшей формуле умолчания, довольствоваться тем, чем довольствовались другие авторы из кочегаров и сторожей: читателем из писателей, читателем слепых машинописных рукописей, случайным, кухонным слушателем — да плюс к тому давно уже опошленной мечтой о провиденциальном читателе. Иные из тогдашних авторов самиздата и в самом деле довольствовались этим, притом до самодовольства. Но они-то верили в народ, верили, что найдут «читателя в потомстве», а я, приходится допустить, прозревал в моих дерзостях, мне самому немилых, сегодняшнее светлое будущее без стихов и без Пушкина.

Нет, не стыжусь сейчас этих моих стихов. Конечно, хорошие стихи не требуют развёрнутого авторского пояснения вроде того, что я сейчас дал, — но я ведь и не говорю, что эти стихи хороши; я говорю, что они передают атмосферу «прокля́тых семидесятых», состояние человека, загнанного в угол, раздавленного пошлостью, низостью и провинциальностью советской жизни, лишенного всякой надежды. Нравственный и умственный штиль семидесятых был страшен. Иногда мне казалось: угоди я прямо в застенки, в ГУЛАГ, я мог бы чувствовать себя счастливее, верить в какое-то будущее. А тут я видел одно: все душевные порывы задушены советской сволочью, лучшие силы, лучшие годы, день за днём, уходят в тартарары, в мусоропровод.

И еще. Книга *Послесловие*, упомянутая Северюхиным, — свидетельство моего престранного каприза, не облегчившего мне жизни. Ни один из сочинителей, вырвавшийся из Совдепии в 1960-1980-е годы, не поступил, как я. Северюхин называет *Послесловие* сборником, но это не сборник, а именно книга. Под книгой стихов я понимаю связный цикл, выражающий какой-то этап человеческой жизни. Лирический герой одной поэтическо книги не тождествен лирическому герою другой книги того же автора. Объём книги не должен превышать 1500 стихов — как это было принято у авторов серебряного века. (Именно столько стихов нового автора можно, не надрываясь, прочесть разом, за один вечер… а то, что не прочитано разом, — не прочитано вовсе, не оставляет цельного впечатления.)

Свою первую книгу я смог издать в 1985 году, в возрасте 39 лет. И вот я сказал себе: подлое время и подлые люди лишили меня возможности жить естественно, расти в контакте с читателем, от книги к книге, — не замечу этого! Не стану подлаживаться к гипотетическому читателю, заискивать перед ним. Буду жить, как если б подлости не было. Издам в качестве моей первой книги не лучшее, а то, что сложилось как книга само собою, — в *Послесловие* же, после всех дополнений и расширений, всё-таки не вошли стихи, написанные после 1978 года. Это книга первой половины 1970-х годов… Совершенно ясно, что читатель поверхностный заметил в *Послесловии* только это: год издания 1985, а стихи — до 1978 годов, из чего заключил, что «автор исписался». Все, решительно все, дорвавшиеся до гутенбергова пресса в свободном мире, поступали иначе: издавали именно сборник, порядочного веса кирпич страниц этак на триста, который хоть и оставался непрочитанным (ни один люби-

тель поэзии не осилит такого чтения разом, не вынесет свя´зного впечатления о поэте), зато должен был — и как раз в силу того, что не прочитан, — утвердить читателя в мысли, что перед ним настоящий поэт.

Возвращаюсь к Северюхину. Он возвращается ко мне на странице 39 своих воспоминаний:

> «Примерно в 1990 году он [то есть я, — Ю. К.] поселился с семьей в Лондоне и стал работать на Би-би-си. Говорят, что он бывает в Петербурге, но встретиться нам пока не довелось…»

Название знаменитой радиостанции Северюхин пишет по сверхновой орфографии, которой ни здравый смысл, ни логика языка не принимают. Правильное написание, конечно, другое: Би-Би-Си. Так и писали всегда, с момента возникновения Би-Би-Си. Сомневающиеся могут заглянуть в энциклопедии той поры, когда в редакциях еще случались образованные люди.

Дальше у Северюхина опять правда, только правда. Уточню лишь порядок слов в предложении. Я «поселился» в Лондоне (18 октября 1989 года) потому, что начал работать на Би-Би-Си, не наоборот; прошел конкурс и был приглашен на эту радиостанцию (не к столу будь помянута). В общей сложности я проработал там тринадцать лет, до октября 2002 года; работал сперва штатным сотрудником, потом внештатником. Попал я на Би-Би-Си по ошибке; работником был плохим, хоть и старательным. Ненавидел эту работу с первого дня, как «поселился» в Лондоне; счастлив был сменить ее на работу шлифовальщика на фабрике пластиковых изделий; а Лондон и Британию полюбил… годами повторял, как стихи, слова первого русского британца (если угодно, первого перебежчика и предателя) Владимира Сергеевича Печерина (1807-1885): «Благославляю тот день и час, когда я впервые ступил на английский берег… нет на земле страны, где правосудие, истина и христианская любовь господствуют в такой степени, как в сердцах великодушного английского народа…» …Но это уже другой разговор, и разговор долгий; жаль, если не смогу до него добраться…

А в Петербурге… — да, я бывал там. Это важный момент: бывал, но не жил. Уезжал я в 1984 году из Ленинграда. К маю 1994 года, когда впервые, через десять лет после отъезда навсегда в никуда, я, переступив через себя, приехал в этот город с неустойчивым именем, — к этому времени на географической карте не было ни страны, ни города, в которых я родился и жил с детства до возраста Пушкина. И страна, и город поменяли своё имя: страна во второй раз, город — в третий раз. В ту пору казалось, что вместе с именами изменилась и сущность страны и города… Какие были надежды!

Тут самое место сказать несколько слов о родине. С севера и с востока она у меня ограничена Большой Невкой, с юга Заячьим островом и Невой, с юго-запада и запада — Малой Невкой. Петроградская сторона с ее вычурным модерном, Большой проспект от Тучкова моста до площади Льва Толстого, Петропавловская крепость и Острова, — вот страна моего детства. Лучшей не надо, при условии, что люди вокруг добры. Мерзкий климат — и тот становится драгоценной частью родины, чем-то сокровенным, находящим молитвенный отклик в душе (как в любимых мною стихах Татьяны Котович). Незачем говорить, что я любил родину. Но любовь неразделённая с годами проходит. Вот мои ленинградские стихи,

написанные 8 марта 1984 года, в кочегарке «на Уткиной Даче», за 67 дней до разрешения на выезд, за 94 дня до эмиграции:

Насос гремел. Приятель был угрюм,
Пил чай, отогреваясь понемногу,
И говорил. Индустриальный шум
Был к месту, не мешая монологу.

— Я не люблю Россию, не люблю.
Любил, да бросил. Разлюбил. Насильно
Не будешь мил. Ни Марксу, ни Кремлю,
Ни Пушкину не поклонюсь умильно.

Полжизни я не верил, что она
Мне мачеха — и, пасынок случайный,
Вздыхал: ее снегов голубизна!
Ее размах! простор необычайный!

И пышный город, где вся жизнь моя
Прошла, где русский дед мой большевичил,
Где нет мне ни работы, ни жилья, —
Не дорог мне. Долгов — сложил да вычел.

За что любить мне этот Вавилон,
Глухою, неправдоподобной злобой
Меня баюкавший? Чем лучше он
Флоренции, к примеру? дух особый? (…)

Полжизни я не видел и не сознавал, что *город на берегах Невы выстроен другим народом для другого народа*.

…Был такой обмен мнениями:

— …хорошо помню, что когда я ещё жил в вашем городе…

— Юра! Почему вы говорите: «в вашем городе»? Это наш город! Наш с вами город!

— Галя, вы ошибаетесь! Как этот город может быть моим, если я не живу в нём третье десятилетие? Я ведь не потому уехал из него, что мне в нём было хорошо. Город — не камни и деревья; город это люди. Люди, отнимавшие у меня воздух в 1970-е и 1980-е годы, все тут, никуда не делись, и работают не истопниками. В родном городе, который я обожал с детства, с любовью противопоставлял всем другим городам белого света, — в этом городе для меня не нашлось не то что места и поприща, а даже работы и жилья! Нет, это *ваш* го-

род! Будь это мой город, я бы жил в нём.

Этот обмен восклицаниями произошел 29 апреля 2006 года в литературном подвале *Бродячая собака* на площади Искусств, где я читал стихи. Восклицание с места исходило от поэтессы Галины Гампер. Слушало еще несколько поэтов. Ведущим на этом вечере тоже был поэт, Александр Танко´в, «ведущий петербургский поэт» (так значилось на листовке, прикнопленной в октябре 2009 года к двери русской библиотеки у рынка Маханэ-Егуда в Иерусалиме, куда Танков приезжал читать стихи).

Мой город, каким я его увидел и полюбил при первых проблесках мысли, в детстве предстал мне поэзией в камне, воплощённой поэзией, поэзией par excellence. И, конечно, не один я так чувствовал. Это был город белых ночей, город Пушкина. Неудивительно, что поэтов в нём было много. Не удивительно и то, что сочинять стихи я начал шести лет отроду, когда ещё не умел писать. Но неразделённая любовь проходит. Настал момент, когда мне поневоле пришлось спросить себя: что, собственно, я люблю? чему поклоняюсь? Камням и деревьям? Но ведь я, кажется, не язычник.

Книга воспоминаний Северюхина точна и насыщена, но невелика по объёму, в ней всего 144 небольших страницы; и, разумеется, не мой портрет (в книге совершенно периферийный), но автопортрет писателя составляет ее суть. На странице 58 Северюхин пишет:

> «Спустя много лет я был искренне растроган, увидев на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа могилу Антона Певзнера под православным крестом. Бегло прочитав биографию этого скульптора, кто-то может счесть его французом или американцем, с таким же успехом можно считать его и евреем; для нас было важно то, что сам он ощущал себя русским, свидетельством чего является его могила…»

Я бегло прочитал биографию этого скульптора, о котором прежде не слыхивал. Вижу, что Антон (он же Антуан, Натан, Нота и даже Noton) Певзнер (1884-1962) был честный представитель революционного искусства в революционную эпоху; громоздил с помощью сварки чугунную трубу на чугунную тумбу; назывался новым реалистом, классифицирован как конструктивист. Северюхин открыл его для себя и России в ходе составления уж упомянутой мною беспримерной книги (Художники русского зарубежья: Биографический словарь. Составители О. Л. Лейкинд, К. В. Махров, Д. Я. Северюхин, 2000), которая сама — чистой воды конструктивизм. В ней около пяти тысяч имен и столько же беглых биографий беглых служителей муз, многие из которых ни сном ни духом не считали себя русскими, да и к музам имели отношение очень отдалённое.

Этой своей конструктивистской натяжкой книга и беспримерна. На ней — *знак качества* одной отдельно-взятой страны. Книга была бы невозможна во Франции, в Германии, в Китае, в Италии или Англии, — художники этих стран без счёта рассыпаны по странам и континентам, — невозможна вообще ни в одной уважающей себя культуре. Великие культуры широки, тороваты. Они не крохоборствуют, не скребут по чужим сусекам. Один из французских лауреатов нобелевской премии по литературе пишет по-китайски, иероглифами, но он француз, премия числится за Францией, и Пекин на нее не зарится. Книга Северюхина и соавторов, по замыслу долженствовавшая служить славе русской культуры, на деле эту

культуру унижает.

Но это — *вторая* конструктивистская натяжка книги, первая же по значению та, что художник, скульптор, архитектор — всегда (в отличие от поэта) чуть-чуть ремесленник и, тем самым, больше принадлежит своему времени, чем своей стране. Что русского в позорных цветных квадратах Малевича, «венчающих живопись»? Что испанского в *Гернике* Пикассо? К слову сказать, этот нашумевший шедевр один к одному содран с бронзового барельефа одного забытого гения-неудачника, французского скульптора Огюста (Антуана-Огюстена) Преё (1809-1879). Его барельеф выполнен в 1834 году, видеть его можно в Шартре; называется *Резня* (Auguste Pr*é*ault, Tuerie, Chartres, Musée des Beaux-Arts).

По-моему, и России не к лицу крохоборствовать. Ни Певзнер ей, ни она Певзнеру ничем не обязаны. И он, и она — сами по себе. Православный крест на кладбище — спорное свидетельство того, что Певзнер считал себя русским. Крестился он после 1909 года, когда был выслан из Петербурга как еврей; крестился, чтобы иметь возможность жить вне черты оседлости царской России. Не удивлюсь, если он был атеистом, как почти все разрушители искусства, шагающие левой. Половину своей жизни Певзнер прожил в эмиграции; похоронен, позволительно допустить, не по своему завещанию, а по тому обряду, который был удобнее наследникам. Наследники вообще довольно часто обходятся с покойниками вопреки их воле. Иногда и до кощунства доходит. Один московский удалец, чьё имя произнести не хочу, умудрился включить в главный корпус стихов Боратынского в серии *Литературных памятников* юношеские, а не поздние варианты стихотворений поэта, то есть прямо надругался над последней волей поэта.

Нет, могила — плохое «свидетельство» русскости. Что скажет постороннему другая парижская могила: католическая могила Ходасевича, на которой начертаны только имя слово поэт? Ходасевич родился и умер католиком, «по крови» он наполовину поляк наполовину еврей, — и он во всех смыслах русский, в этом усомниться нельзя; его жизнь тому свидетельство, его завещание — в его стихах. Происхождение и религия ни в чьих глазах ни в малейшей степени этому не мешают.

И, конечно, Северюхин неправ, говоря о Певзнере «с таким же успехом можно считать его и евреем». Это успех расистский. Певзнер *вышел* из евреев. Крещёный еврей перестаёт быть евреем и для христиан, и для евреев (атеист же для евреев евреем остаётся). Певзнера невозможно было похоронить в Париже по еврейскому обряду.

Не следует ли, однако, рассматривать это умиление Северюхина над православной могилой Певзнера как его, Северюхина, завещание? Неужто и он крестился? Шестого июня 2001 года, когда он щедро угощал меня пивом в своей галерее-траттории в Летнем саду (уж тут точно была у него эспаньолка; сохранился снимок), мне и в голову не пришло спросить его об исповедании. Не задал я такого вопроса и 24 сентября 2010 года, когда мы прощались на-

всегда, а при нашем знакомстве в 1982 году в Ленинграде как-то само собою разумелось, что мы оба атеисты…

В любом случае Северюхин — в отличие от меня — человек цельный. Он «не был столь увлечен еврейской темой», когда я, в моей непоследовательности, «увлекся» ею; он «вовсе не собирался эмигрировать» и не эмигрировал. Он с полным правом считает себя русским. Кто оспорит это право? Религию в качестве национального признака отметаем как вздор. «Кровь» — ещё бóльшая чепуха; русских «по крови» нет и никогда не было ни в природе, ни в истории. Русский, еврей, испанец — тут на первом месте призвание, а не кровь. Мне никогда в голову не приходило поинтересоваться происхождением Северюхина. Сейчас думаю, что этот русский патриот, как и Певзнер, вышел из евреев. Внешность у него еврейская (особенно рядом со мною, русым и сероглазым славянином, евреем по призванию), хотя, конечно, ее и цыганской можно счесть. Фамилия — во всяком случае не русская. Матюхин, Гаврюхин, Андрюхин — рядом с этими отымёнными фамилиями фамилия Северюхин не становится. Она, сколько вижу, происходит не от латинского слова север, означающего ,רבש вошедшего в славянские языки еще до слова русь, а от еврейского слова осколок, обломок. С некоторой натяжкой его можно перевести и как слово беда, но это значение нам ни к чему… разве что если отнести его ко мне; по-еврейски רבש ילכ — разбитый человек, развалина.

Возвращаюсь к себе-любимому. Помечтаю о моей могиле. Если меня переживёт человек действительно близкий, ее не будет вовсе: таково моё завещание; а человек не столь близкий, естественно, выберет путь самый дешевый. При этом сам я жалею, что не посетил двух могил: моего еврейского деда Боруха Лазаревича Колкера, убитого в 1934 году в Ашхабаде, и моего русского прадеда Ивана Григорьевича Чистякова, умершего своей смертью в Петербурге в 1912 году. Барух Колкер был небогатым предпринимателем в Одессе, при большевиках потерял свою кожевенную мастерскую и работал бухгалтером. Иван Чистяков, родом из крепостных крестьян, начинал в столице рабочим, а умер состоятельным человеком, учредил и возглавил в Петербурге прибыльное предприятие: «вторую артель уличных продавцов произведений печати» (как значится на цоколе его кладбищенского памятника). О его зажиточности свидетельствует снимок надгробия (естественно, с православным крестом), аляповатого, но очень недешевого… вот только на каком оно кладбище Петербурга было, этого мне узнать не удалось. Что не сохранилось, в этом и сомневаться не при-

ходится. Сохранился снимок. Под крестом сидит десятилетняя Валя, моя будущая мать; а вдали, в гимнастёрке, фуражке и сапогах, — ее отец Фёдор Чистяков, большевик. Детей у Ивана Григорьевича было шесть человек. Не всякий мещанин мог себе такое позволить… Очень, очень надеюсь, что у меня не будет никакого надгробия. Оно мне не по чести. А если всё же будет, ни русского, ни еврея оно не растрогает. Я был выращен в сознании, что я русский, в гордости, что я русский, с этими чувствами прошёл детство, отрочество и часть юности, — но русским быть перестал, изменил всей своей родне, уходящей через питерских мещан и тверских крепостных крестьян в русскую старину, к Куликовской битве, к Киевской Руси.

Изменив моим русским предкам, я обратился к моим еврейским прародителям, к волынским и польским местечковым иудеям, к пражской Старо-новой синагоге, к Иерусалиму. Сделал я это не только потому, что «увлёкся еврейской темой» и не единственно движимый «желанием во что бы то ни стало выехать из СССР», а в первую очередь потому, что в каждом человеке, особенно молодом, живёт мечта о большом коллективе, в котором он среди своих. Человек, как мы неоднократно слышали, — общественное животное: это сущая правда; ни отнять, ни прибавить… точнее, прибавить как раз нужно: страстное влечение к большому коллективу и богоискательство — одно и тоже. Бог только и может осуществиться в большом коллективе, в общине избранных.

Не продолжаю этой темы; я ведь всего лишь воспоминания пишу. Евреем я стать не сумел. Не хватило ума или мужества. Изменил и этой моей мечте. Потребность в большом коллективе с годами я утратил, Бога похерил. Сохранил потребность в малом коллективе, в минимальном, состоящем из двух избранных, избравших друг друга. Конечно, и моя потребность в максимальном коллективе, в человечестве, уж как ни позорно оказалось оно на поверку, я, пока жив, сохраняю, — но принадлежностью к этому коллективу совершенно не горжусь.

Нужны ли мне коллективы минутные, повременные? Сейчас, когда я старше годами не только моего русского деда (единственного в семье большевика, партийного функционера, красноармейца с тремя ромбами, отсидевшегося в подвале во время Ярославского восстания 1918 года, умершего от туберкулёза в 1935 году), но и моего еврейского отца (инженера-электрика, выучившегося в Германии как раз перед приходом Гитлера к власти… и — вот незадача! — вернувшегося в Совдепию), — сейчас у меня осталась горстка друзей и приятелей, я не завожу новых и всё слабее связан со старыми. «А когда-то, когда-то, когда-то» (как говорит стихами В. С.) их было много, — в годы, проведённые в пещерной коммуналке на улице Воинова, где звонки в дверь и звонки по телефону не прекращались с утра до вечера; в иерусалимском центре абсорбции в Гило, а потом в нашей квартире в Писгат-Зеэве, где наша входная дверь вообще не закрывалась. Нас было много на челне, а теперь я анахорет, эремит. Какие друзья у человека без национальности, без Бога?... Но как-то так само собою выходит, что если я — изредка, ох, изредка, — оказываюсь в обществе, где мне интересно, то, хоть это и выходит, ей-богу, не нарочно, a de facto, но вокруг меня обычно оказываются евреи по крови и (или) призванию. И умереть я хотел бы в Израиле, а то и за Израиль… но это уж мечта недоступная, снежная…

Среди прочих друзей, приятелей и знакомцев разошёлся я и с Северюхиным,

написавшим этот прелестный и драгоценный для меня мой портрет. Разошёлся не в 2014 году, который развёл многих, а на год раньше, а мае 2013 года. Мы тогда обменялись несколькими электронными записками. Я спрашивал моего старого товарища и соавтора, не найдёт ли он мне дешевого жилья в Петербурге на две недели июня. Северюхин, по его словам, обрадовался предстоящей встрече, навёл справки и назвал цену, показавшуюся мне завышенной, на что я посетовал. Он возразил мне, что в Лондоне жильё обошлось бы ему в четыре раза дороже. Должно быть, тридцать лет в эмиграции совсем помрачили мой разум и нравственное чувство — потому что я опешил от этого сопоставления, когда же пришёл в себя, ответил Северюхину, что, по моему разумению, эти два города даже в шутку сравнивать не стоит. Северюхил понял меня правильно и отвечать не стал. В последний раз жму ему руку. Этот достойный человек сохранил верность тому, что я, в моих самозабвенных поисках себя и в моём богоискательстве (незачем повторять, что это одно и то же) предал бесповоротно. Город моего детства и юности, город с неустойчивым именем — для меня вполне и окончательно пуст.

14-29.01.2015 (2022)